

Федор Николаи

# Ресентимент и негодование:

ФРАГМЕНТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИСТОРИИ  
И ПОЛИТИЧЕСКОЙ СОЦИОЛОГИИ ЭМОЦИЙ\*

DOI: 10.53953/08696365\_2025\_192\_2\_388

## **Фишман Л. Неравенство равных: концепция и феномен ресентимента.**

М.: Издательский дом ВШЭ, 2024. — 272 с. — (Политическая теория). — 600 экз.

## **Demertzis N. The Political Sociology of Emotions: Essays on Trauma and Resentment.**

N.Y.; L.: Routledge, 2020. — 248 p. — (Routledge Studies in the Sociology of Emotions).

## **Schneider R.A. The Return of Resentment: The Rise and Decline and Rise Again of a Political Emotion.**

Chicago; L.: University of Chicago Press, 2023. — 298 p.

Проблематика ресентимента (resentiment) и негодования (resentment) широко обсуждается сегодня в гуманитарных исследованиях в связи с ростом правого популизма, сторонников которого в США, Турции, Венгрии, России и других странах обвиняют в манипуляции эмоциями — разжигании ненависти, обиды, возмущения и агрессии<sup>1</sup>. При этом сложный механизм взаимосвязи социальных эмоций, ценностных установок и политических взглядов часто оказывается за рамками обсуждения. Ресентимент всегда связан с комплексом других негативных эмоций и социальных представлений — от смутного недовольства до отрефлектированных требований справедливости. Поэтому важно отметить отличия ресентимента как «переоценки ценностей» конца XIX в. (в понимании Ф. Ницше) от современного комплекса негативных эмоций, социально-экономических проблем и темпоральных представлений (включая разочарование в будущем, которого, по выражению А. Ассман, в эпоху модерна было «хоть отбавляй»).

## Доппельгангер демократии эпохи модерна

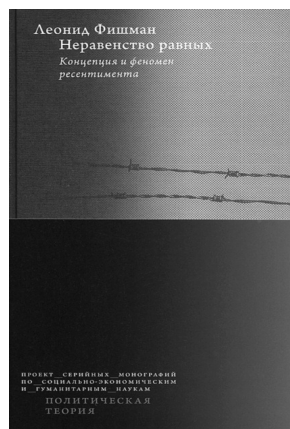
В своей книге «Неравенство равных» политолог Леонид Фишман утверждает, что ресентимент — это не столько комплекс социальных эмоций, сколько эпистемоло-

---

\* Материал подготовлен в рамках научно-исследовательской работы государственного задания РАНХиГС.

1 Rosenthal L. Empire of Resentment: Populism's Toxic Embrace of Nationalism. N.Y.: The New Press, 2020; Vogl J. Capital and Resentment: A Short Theory of the Present. Cambridge: Polity, 2022; Фукуяма Ф. Идентичность: стремление к признанию и политика неприятия / Пер. с англ. А. Соловьева. М.: Альпина Паблишер, 2019; Кукулин И. Ресентимент и удар ножом в спину: генеалогия российской политической культуры // Лекторий радио Сахаров. 2024. 15 октября (<https://www.litres.ru/podcast/andrey-zaharov-32973/ilya-kukulin-resentiment-i-udar-nozhom-v-spinu-geneal-71214272/>); Ямпольский М. В стране победившего ресентимента: [Дайджест статьи] / П. Филиппов // Ежедневный журнал. 2018. 19 сентября (<https://www.ej2020.ru/?a=note&id=32933>).

гическая оптика: критический «взгляд, обнаруживающий ресентимент» (с. 9) и стремящийся разоблачить его скрытые основания. Такой взгляд возникает в условиях асимметрии между капитализмом и демократией периода модерна, или постоянно воспроизводящегося неравенства при декларации формального равенства. Главной функцией ресентимента как понятия в эпоху модерна автор считает самооправдание *наблюдателя* — противопоставление своих («позитивных») социальных установок, формирующих полюс «нормального», и патологии ненависти, обиды и ресентимента Другого. То есть в конечном счете речь идет о воспроизводстве социальной нормативности и оправдании политических различий моральными и психологическими факторами, скрывающими сконструированный характер оппозиции «свой — чужой». «Взгляд, обнаруживающий ресентимент, будь он правым или левым, — это в своей основе взгляд субъекта, желающего выступать с позиций “господина” и “нормы”. Проблема заключается в том, что это желание не может быть удовлетворено. Обличитель ресентимента, во-первых, на самом деле не является господином, и, во-вторых, он не может забывать, что одна из норм данного общества все еще заключается в том, что господином считать себя нельзя» (с. 232).



В этом смысле автор ставит под вопрос классический анализ ресентимента у Ф. Ницше, М. Шелера и Н. Бердяева, для которых (при всем различии их взглядов) ресентимент представляет собой «феноменальное единство переживаний и действия, обусловленного бессильным негодованием ввиду невозможности изменить свое положение, из чего возникает моральная установка “переоценки ценностей” с сознательной и бессознательной целью отомстить виновникам перманентного унижения» (с. 100). Эти классические работы важны, поскольку фиксируют комплексный характер ресентимента, который нельзя рассматривать как некую гомогенную эмоцию или социальное недовольство. Но у Ницше и Шелера «самообман рабов, выдающих нужду за добродетель» противопоставляется

благородству духовной аристократии, стремящейся изменить общественную ситуацию к лучшему. Фишман же убедительно доказывает, что французская и немецкая аристократия XVII—XIX вв. выступала не объектом, а инициатором ресентимента: майорат заставлял младших сыновей и бастардов завидовать и возмущаться несправедливостью распределения собственности; к этому добавлялся конфликт дворянства шпаги и дворянства мантии, а также конфликты между различными кругами придворного и поместного дворянства, вынужденного скрывать свои чувства от себя и других. Таким образом, ресентимент лучше считать не универсальным антропологическим феноменом, а специфическим социально-культурным и эпистемологическим инструментом знания-власти эпохи модерна.

Этот тезис представляется весьма интересным и вполне продуктивным в аналитическом плане. Во-первых, он помогает проблематизировать современный контекст полемики о ресентименте. Автор справедливо замечает: «Сегодня мы имеем дело с последствиями десятилетий нелиберальной социальной политики — падением влияния организаций трудящихся, сокращением среднего класса, кризисом “общественного труда”» (с. 10). Как и в конце XIX — начале XX в., ресентимент сегодня упоминается большинством авторов как реакция на фактическое неравенство и недовольство своим положением при общей удовлетворенности тенденциями демократизации — отказе от иерархий «высокого» и «низкого» в культуре; преобладании среднего класса; господстве специфических политик идентичности, переводя-

щих политические противоречия на уровень культурно-психологических установок. Важную роль в этом контексте приобретает проблема новых медиа, о которых автор, к сожалению, почти не пишет, но которые делают неравенство более зримым.

Важно отметить, что тезис Фишмана предполагает ключевую роль элит: они воспроизводят ресентимент активнее, чем остальные социальные группы и классы. Это характерно и для ситуации в России, где «элиты, несмотря на все усилия и уступки “западным партнерам”, так и не стали для них “своими” при формальном равноправии»<sup>2</sup>, что вызвало преобладание антизападничества и идеи «особого пути», внутри которого коренятся «ожидание мести и надежда на крушение зловредного Запада» (с. 57).

Однако уравнивание правого и левого, элитистского и низового ресентиментов вызывает вопросы. «Призрак бродит по миру, призрак ресентимента. Ресентимент черных, которых упрекают за это в “черном расизме”, и ресентимент белых, обнаруживших себя далеко не такими процветающими, как прежде. Зачастую подпитываемый религией ресентимент целых стран и регионов — как наследие в равной мере колониального прошлого и неудачных попыток присоединиться к цивилизованному миру. Ресентимент бедных, вытекающий из бессильного возмущения неспособностью и невозможностью изменить свое положение, и ресентимент не самых обездоленных, но давно упершихся в “стеклянный потолок”, который более не пробивается доступными социальными лифтами. <...> Надо всем этим гордо реет популизм, как правый, так и левый, для которого ресентимент — едва ли не второе имя» (с. 7). Насколько продуктивно игнорировать какие-либо существенные различия между всеми этими формами ресентимента? Тем более что далее критика современного ресентимента оказывается непропорционально смещена влево: разделы 5.2 и 5.3 посвящены его роли в феминизме<sup>2</sup>, в шестой главе знаменитая книга Г. Стэндинга о прекариате рассматривается как «манифест ресентимента» (с. 166), тогда как анализа и критики правого ресентимента у Фишмана практически нет. Такая позиция явно не учитывает современного роста правых во всем мире и игнорирует вопрос о политических импликациях предлагаемой односторонней критики.

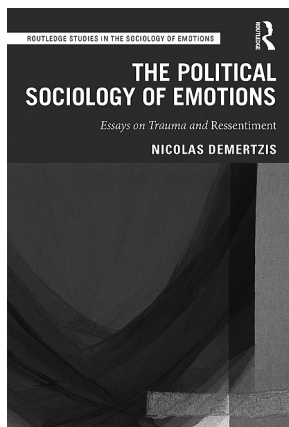
В последних главах автор приходит к парадоксальному на первый взгляд выводу о неизбежности и даже полезности ресентимента: «Ресентимент следует рассматривать как стабилизирующий фактор современных обществ, поскольку он основывается на представлении о *действительном* равенстве преуспевших и не преуспевших, поддерживающем достоинство последних. “Я мог бы достичь большего, если бы не...” Поэтому представляются сомнительными рассуждения о деструктивной роли ресентимента в современных (да и не только) обществах, которые предаются как отечественные, так и зарубежные авторы» (с. 191); «Ресентимент необходим его носителю для внутреннего самоисцеления, равно как и тем, на кого он направлен, чтобы они не погрязли в самоуспокоении» (с. 213). Таким образом, позиция самого Фишмана предполагает признание существующих различий и невозможности принципиальных изменений в современном обществе. Ресентимент выступает у него дерридианским фармаконом — «ядом» недовольства и «лекарством» социальной нормализации одновременно.

---

2 «Возникающий при этом феминизм поздних волн (с его антимаскулинной риторикой и выходящей за рамки рационального критикой патриархата) является ответом на лишь частично успешную реализацию программ раннего феминизма. Современный феминизм содержит значительные элементы ресентимента именно потому, что не просто является плодом разочарования в результатах прежнего феминизма, но потому, что перекладывает вину за это на такого рода факторы, которые изменить нельзя» (с. 159).

Повторимся, речь идет о социальной установке, а не о коллективных эмоциях. В целом автор довольно часто упоминает эмоции, например «чувства неуверенности и тревоги, равно как зависти и стыда» (с. 165), но не обращается к культурной истории или социальным исследованиям эмоций. Особенно ярко это проявляется во второй главе, посвященной распространению ресентимента среди европейской аристократии. Работы о культуре сентиментализма и ее влиянии на Французскую революцию (например, знаменитая книга У. Редди<sup>3</sup>) здесь даже не упоминаются; автор произвольно ограничивается анализом лишь нескольких переведенных на русский язык источников (Ш.Л. де Монтескьё, Ф. де Шатобриана и др.) и монографий по социальной истории. Именно в этом контексте представляется любопытным сравнить книгу Л. Фишмана с работой греческого социолога Н. Демерциса.

### Ресентимент, негодование и политические эмоции в обществе риска



Профессор Афинского университета Николас Демерцис в книге «Политическая социология эмоций: эссе о травме и ресентименте» исследует отголоски культурных травм XX в., которые провоцируют появление сложных комплексов эмоций и аффектов, становящихся питательной средой цинизма и ресентимента. В отличие от Фишмана, Демерцис рассматривает ресентимент не как характерный для всей эпохи модерна феномен, а как специфический симптом становления общества риска и исчезновения будущего в конце XX — начале XXI в. Еще в 1990-е гг. о ресентименте рассуждали только исследователи Ф. Ницше и М. Шелера, а политиков редко обвиняли в популизме, тогда как в 2010-е манипуляция политическими эмоциями и их использование популистами стали горячо обсуждаться

в самых разных странах (включая Грецию). Если в январе 2013 г. на запрос по словосочетанию «политические эмоции» гугл-поиск выдавал лишь 18 900 результатов, то в феврале 2020 г. эта цифра выросла до 160 миллионов, то есть почти в тысячу раз (с. 12). По мнению Демерциса, современный успех правого популизма связан с трансформациями «структур чувственности» и резким сокращением рациональных суждений в публичной сфере. Сторонники либеральной модели глобализации отвечают на этот вызов, настаивая на необходимости проработки культурных травм XX в. и связанных с ними чувств стыда и вины, апеллируя к универсальному моральному сообществу. На этом фоне левые (которые в начале XX в. делали ставку на классовое недовольство и чувство солидарности) теряют поддержку во многом именно потому, что не могут предложить внятного эмоционального режима в качестве ответа на происходящие масштабные изменения, такие как войны, экономические проблемы и «исчезновение будущего».

Книга Демерциса включает в себя большую вводную главу и две основные части, посвященные анализу травмы и ресентимента. В вводной главе рассматри-

3 Reddy W. *The Navigation of Feeling: A Framework for the History of Emotions*. Cambridge; N.Y.: Cambridge University Press, 2004. См. об этой книге в обзоре: Николаи Ф. История эмоций: три версии // Новое литературное обозрение. 2019. № 156. С. 289—297.

ваются общие теоретические рамки политической социологии эмоций, которая достаточно широко обсуждается в последние годы в гуманитарных исследованиях<sup>4</sup>. Как подчеркивает автор, эмоции не следует жестко противопоставлять рациональному мышлению — они схватывают и воспроизводят социально-политические представления в форме когнитивных схем или клише, предназначенных для беспрепятственной коммуникации представителей самых разных социальных групп. С этой точки зрения ресентимент не просто включает в себя обиду и раздражение, но и фиксирует частично отрефлексированное недовольство ростом социального и экономического неравенства, символически кодируя его через противопоставления «своего» и «чужого». Рост ресентимента в 2000-е гг. Демерцис связывает с изменением общего эмоционального режима общества риска и прежде всего — с господством цинизма, который становится результатом спада социальной мобильности, низкой эффективности работы государственных институтов, пессимизма и разочарования в принципиально важной для эпохи модерна идее будущего. Однако в отличие от Фишмана Демерцис не считает весь ресентимент одинаковым, а пытается вслед за П. Слотердайком (разграничившим цинизм и кинизм) развести между собой ресентимент как бессильное недовольство при неспособности изменить свое положение и вполне обоснованное негодование, вызываемое устаревшими идеологиями, нарративами и социальными отношениями. По мнению автора, ресентимент правых сторонников Д. Трампа и негодование левых разнонаправленны: первый мифологизирует прошлое и не видит возможностей для перемен в будущем, а второе наряду с отрефлексированной социальной критикой элит включает в себя конструктивный элемент и ищет пути модернизации общества в будущем. Именно в этом контексте Демерцис рассматривает в последней главе рост национализма в современном обществе — как активизацию «национальных чувств», которые в исследованиях наций и национализма долго отодвигались на задний план<sup>5</sup>. Сегодня неудачи левых в символическом кодировании эмоций недовольства и негодования позволяют правым популистам не только мифологизировать прошлое, но и конструировать образ внешнего врага, нивелируя социальные противоречия внутри сообществ.

Первая часть книги посвящена «политике травмы», которая анализируется в духе культурсоциологии Дж. Александера и Р. Айермана — как устойчивый нарратив позднего модерна, наделяющий прошлое особым драматическим статусом. Этот нарратив предполагает строго определенный набор социальных ролей: наследники жертв противопоставляются здесь палачам (виновным в трагедии прошлого)

- 
- 4 См., например: *Bringing the Passions Back in: The Emotions in Political Philosophy* / Ed. by R. Kingston, L. Ferry. Vancouver; Toronto: UBC Press, 2014; *Emotions in Politics: The Affect Dimension in Political Tension* / Ed. by N. Demertzis. L.: Palgrave Macmillan, 2013; *Feeling Political: Emotions and Institutions Since 1789* / Ed. by U. Frevert, K.M. Pahl, C. Moine. N.Y.; L.: Palgrave Macmillan, 2022; *Hall C. The Trouble with Passion: Political Theory Beyond the Reign of Reason*. N.Y.: Routledge, 2013; *Illouz E. The Emotional Life of Populism: How Fear, Disgust, Resentment, and Love Undermine Democracy*. N.Y.: Polity, 2023; *Passionate Politics: Emotions and Social Movements* / Ed. by J. Goodwin, J.M. Jasper, F. Polletta. Chicago: The University of Chicago Press, 2009; *Political Emotions: Towards a Decent Public Sphere* / Ed. by T. Brooks. N.Y.: Palgrave Macmillan, 2022; *Populism and Passions: Democratic Legitimacy after Austerity* / Ed. by P. Cossarini, F. Vallespín. N.Y.: Routledge, 2019; *Power and Emotion* / Ed. by G.J. Heaney, H. Flam. N.Y.: Routledge, 2015; *Waltzer M. Politics and Passion: Toward a More Egalitarian Liberalism*. New Haven: Yale University Press, 2005.
- 5 В последней главе автор дает подборку посвященных «национальным чувствам» фрагментов из Б. Андерсона, Э. Геллнера, Э. Хобсбаума, Ф. Герца, Л. Гринфельд и др.

и пассивным сторонним наблюдателям. С этой точки зрения «травма» превращается в современном обществе риска в центральную воображаемую сигнификацию и мастер-означающее (master signifier). <...> Общество риска систематически производит угрозы, поэтому индивиды начинают воспринимать риск как неизбежное зло, к которому склонны Другие. В этом отношении общество риска является социальной формацией, в которой чрезвычайное положение грозит стать нормальным состоянием» (с. 28). Нарратив «травмы» становится узнаваемой схемой, распределяющей социальные роли и оправдывающей неспособность людей изменить что-либо в своем положении. Войны и кризисы были всегда, но именно в эпоху позднего модерна с ее схлопыванием горизонта будущего они стали восприниматься как травмы — предельные события, детерминирующие современность, отголоски которых уже нельзя изменить.

Однако в отличие от Александера и Айермана Демерцис рассматривает нарратив травмы еще и как специфический тип высказывания — эмотив, в рамках которого эмоции разворачиваются в процессе выражения. Кроме того, он предлагает различать между собой несколько стратегий медиатизации травмы, структурно отличающихся и несущих разные политические импликации. Широко распространенная критика нарратива травмы и страданий в медиа (особенно цифровых) отмечает их коммодификацию — встроенность в культуру развлечения. Страдания других демонстрируются в медиа тем, кто находится в относительной безопасности, что превращает последних в пассивных зрителей, отделяет их стандартизованные «квазиэмоции» (с. 78) от социальных и политических действий, редуцирует их реакцию к узнаванию клише и снижению вызванной повседневной рутинной апатии. Такое узнавание клише Демерцис называет метонимической стратегией медиатизации культурной травмы. Однако исследователя больше интересует метафорическая стратегия, позиционирующая травму как ключевой симптом структурных противоречий общества риска и придающая антропоморфные черты безличным алгоритмам и социально-политическим процессам (снижению социальной солидарности, кризису доверия государственным институтам и т.д.). «Метафора представляет собой замену одного означающего другим» (с. 75). Метафорическая стратегия не просто обращена к отдельному зрителю, но включает его в некую социальную или моральную общность людей, для которых данные проблемы или травмы имеют принципиальное значение и требуют усилий по их осмыслению.

Демерцис достаточно подробно рассматривает отголоски культурных травм Второй мировой, гражданской войны 1944—1949 гг. и диктатуры 1967—1974 гг. в Греции. Все эти события насаивались друг на друга и на другие трагедии первой половины XX в.: эпидемии, экономические кризисы, волны беженцев из Малой Азии и провоцирующие их войны. Кроме того, они до сих пор не имеют официально установленных дат и ритуалов памятования, что затрудняет их репрезентацию и маркирует как одну недифференцированную травму. Накладываясь на индивидуальные биографии (Демерцис приводит цитаты из одиннадцати записанных им интервью с участниками гражданской войны), нарратив травмы оказывается востребован и правыми и левыми, но в разных целях. Для большинства левых, как и для отца автора, — выходца из рабочей семьи, участника коммунистического сопротивления в годы Второй мировой, прошедшего через лагерь для интернированных лиц и вынужденного по требованию победивших в гражданской войне правых монархистов подписать отречение от прежних политических взглядов и признать вину, хотя в самой гражданской войне он не участвовал, — этот нарратив становится вполне понятной и весьма эмоциональной реакцией на пережитые несправедливости и долгую невозможность высказаться. Демерцис подчеркивает, что отказ говорить о прошлом в современном греческом обществе (не столько интересующемся

недавней историей, сколько склонном мифологизировать наследие Византии и отчасти эллинизма) не устраняет эти эмоции, а сохраняет их на аффективном/неотрефлексированном уровне, что становится почвой для недовольства и ресентимента. Автора интересует именно внутренняя амбивалентность медиатизированной «культуры травмы», которая во многом и порождает ресентимент, поскольку метонимическая стратегия гораздо легче воспроизводится аудиторией, тогда как метафорическая модель осмысления сложных связей прошлого и настоящего рассчитана в основном на академическую (левую) аудиторию.

Во второй части книги автор обращается к проблеме разграничения ресентимента и негодования (*resentment*). Он подробно рассматривает существующие варианты перевода и интерпретации этих понятий — их уравнивание или же разграничение в оригинальных текстах Г. Лебона, В. Зомбарта, Р. Мертона, А. фон Маргина, П. Слотердайка, М. Ферро и в их переводах (прежде всего на английский)<sup>6</sup>. Демерцис предлагает различать как сами понятия, так и стратегии использования этих политических эмоций левыми и правыми популистами. С его точки зрения, негодование представляет собой и аффект, и эмоцию (сюда относится классовое негодование), и метафорическую рефлексию о причинах и характере действий, которые нужны для исправления сложившейся несправедливости. Ресентимент же представляет собой аффективно-эмоциональную структуру, фиксирующую недовольство в уже готовых (нерефлексивных) формах и не предполагающую действий по исправлению несправедливости в будущем. Он опирается на метонимическую стратегию репрезентации травмы, напрямую соединяя личный опыт и воображаемые (национальные) сообщества. Таким образом, негодование и ресентимент наполовину пересекаются: в них присутствует политическое измерение (противопоставление своего и чужого), а моральное сообщество выстраивается в обоих случаях через валоризацию текущей несправедливости. Однако их темпоральные структуры принципиально различны: ресентимент делает ставку на уже произошедшую в прошлом несправедливость (травму), а для негодования важно наличие планов по исправлению этой несправедливости в будущем.

Обращаясь к работам Д. Юма, А. Смита, П. Стросона и Дж. Ролза, Демерцис пробует реконструировать генеалогию, или интеллектуальную историю, негодования как политической эмоции (еще более последовательно это делает Р. Шнайдер в своем исследовании, которое будет рассмотрено ниже). Эта попытка представляется весьма продуктивной. Но применительно к современному обществу концепция автора не хватает социологического или антропологического измерения — более развернутого анализа оттенков этого негодования/ресентимента в восприятии разных поколений и социальных групп<sup>7</sup>.

Таким образом, исследование Демерциса принципиально отличается от книги Фишмана сразу в нескольких важных моментах. Во-первых, автор ставит вопросы

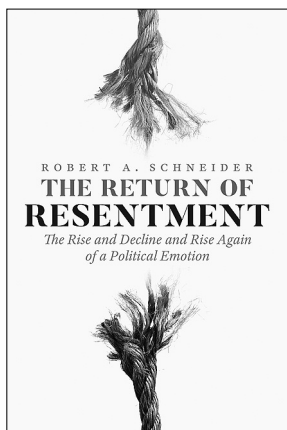
6 Например, английский перевод книги одного из лидеров знаменитой школы «Анналов» М. Ферро «*Le ressentiment dans l'histoire*» (2007) под заглавием «*Resentment in History*» (2010) предполагает уравнивание этих понятий. В этом контексте отдельной проблемой представляется перевод этих слов на русский язык. Например, в переводе книги С. Жижика «О насилии» (2008) «негодование» (*resentment*) превратилось в «ресентимент», а в названии книги Ф. Фукуямы — в «неприятие» (см.: *Жижек С. О насилии* / Пер. с англ. А. Смирнова, Е. Ляминой. М.: Европа, 2010. С. 69; *Фукуяма Ф.* Указ. соч.).

7 Показательно, например, что Демерцис вообще не ставит вопроса о гендерных различиях и причинах ресентимента. (Фишман же много пишет о феминизме, но уравнивает его со всеми другими социальными движениями эпохи модерна, то есть лишает специфики и собственного голоса.)

об интеллектуальной истории и политической социологии эмоций, а также об их исторической специфике и проблемах перевода. Во-вторых, он показывает прямую взаимосвязь политических различий, степени рефлексивности и темпоральных установок при анализе негодования/ресентимента. С этой точки зрения правые популисты побеждают сегодня еще и потому, что их отказ от будущего соответствует современному режиму историчности (А. Арто), а рефлексивность левых проигрывает, поскольку ищет крайне сложные стратегии репрезентации и эмоций, и образов будущего, ориентируясь не на массовую аудиторию, а скорее на академических экспертов.

## Негодование: интеллектуальная и политическая история

В этом контексте интересна еще одна книга — «Возвращение негодования: взлет, падение и новый подъем политической эмоции» профессора Индианского университета Роберта Шнайдера. Автор рассматривает интеллектуальную историю понятия негодования (*resentment*) и политическую историю самой этой эмоции в эпоху модерна. По мнению исследователя, в текстах А. Смита и Д. Юма, Ф. Ницше и М. Шелера, Ф. Фанона и Ж. Амери, В. Браун и А. Хохшильд негодование как эмоция отрефлексировано в прямой связи, во-первых, с представлениями о справедливости, а во-вторых — с политическими дискуссиями четырех принципиально разных исторических периодов. Важно подчеркнуть историчность этой рефлексии, то есть меняющиеся эмоциональные коннотации и символическое кодирование эмоции, вербально маркировать которую (в том числе при переводе) приходится по-разному.



Первые две главы посвящены эпохе Просвещения и сентиментализма. Негодование рассматривается здесь в контексте самых разных социальных противоречий, но прежде всего — между растущей буржуазией и придворной аристократией. Обращаясь к определениям негодования в словарях XVII—XVIII вв., а затем к текстам Дж. Батлера, А. Смита и Д. Юма, Шнайдер убедительно показывает оправданность негодования в их восприятии: оно выступало неизбежным ответом на внешнюю несправедливость. Приставка *re-* в английском слове *resentment* и отсылка к латинскому корню *sentire* (чувствовать) предполагали повторяющуюся почти физическую реакцию на внешнее воздействие. Смит в первой части «Теории нравственных чувств» отмечал неизбежность и справедливость негодования

(хотя и с определенными ограничениями): «Негодование может показаться нам справедливым и уместным не иначе как если оно будет сдержано и доведено до гораздо меньшей степени, чем какую получила бы эта страсть, естественно возбуждающая более всякой другой. <...> Человек, равнодушно переносящий оскорбление, не дающий отпора ему и не думающий об отмщении, вызывает наше презрение. Мы не можем разделять ни его равнодушия, ни его бесчувственности; мы объясняем его поведение малодушием, которое возмущает нас не менее, чем оскорбление его противника»<sup>8</sup>. Моральная философия в эпоху сентиментализма претен-

8 Смит А. Теория нравственных чувств / Пер. с англ. А.Ф. Грязнова. М.: Республика, 1997. С. 54—55. В этом переводе английское *resentment* на одной и той же странице переводится как «злоба», «опасения», «негодование» (с. 54).



довала на управление страстями и определение сбалансированных форм проявления эмоций (включая негодование) и социальных противоречий.

Третья и четвертая главы посвящены XIX в., когда сначала Великая французская революция и Наполеоновские войны, а затем революции 1830 и 1848 гг. и создание Парижской коммуны показали невозможность социального контроля эмоций и поддержания баланса между ними. Эти социальные конфликты усилили интерес к негативным эмоциям, центром которых благодаря Ницше и Шелеру стал выступать ресентимент, утративший прежние отсылки к поддержанию справедливости: «От желания мести через злобу, зависть и недоброжелательство к коварству — таков прогресс чувств и импульсов, вплотную подводящий к ресентименту»<sup>9</sup>. Важно подчеркнуть, что ресентимент для Шелера и Ницше не сводим к эмоциям — это извращенная *система ценностей*, точнее, их структурная девальвация, или «самоотравление души»<sup>10</sup>. Шелер подчеркивает проблемы с переводом понятия «ресентимент» на немецкий язык: «Мы пользуемся словом “ресентимент” не из особого предпочтения к французскому языку, а потому, что нам не удастся перевести его на немецкий. <...> Наверное, немецкое слово “Groll” больше всего подходит для выражения основной части смысла данного слова. “Grollen” — это блуждающая во тьме души затаенная и независимая от активности “я” злоба, которая образуется в результате воспроизведения в себе интенций ненависти или иных враждебных эмоций и, не заключая в себе никаких конкретных враждебных намерений, питает своей кровью всевозможные намерения такого рода»<sup>11</sup>. Если в эпоху Просвещения негодование было ближе всего к гневу — четко осознаваемому, во многом оправданному, вызванному конкретным событием и направленным прежде всего на обидчика, то ресентимент у Ницше и Шелера отличается длительностью, неосознанностью и несвязанностью с конкретным источником негативного воздействия.

Однако такое понимание ресентимента едва ли корректно распространять на всю эпоху модерна; по мнению Шнайдера, уже в 1950—1960-е гг. негодование и недовольство стали восприниматься и символически кодироваться совершенно иначе. В это время целый ряд ведущих западных (прежде всего американских) интеллектуалов — Д. Белл, Т. Парсонс, С. Липсет, Д. Рисмен, Р. Хофстедтер и др. — выступили с критикой маккартизма и «новых правых», стремительно набиравших популярность в условиях холодной войны, несмотря на экономические успехи демократов конца 1940-х гг. и наследие «Нового курса» Ф. Рузвельта. В сборнике «Новые американские правые» (1955) и его обновленном издании начала 1960-х гг. «Радикальные правые»<sup>12</sup> Белл и его коллеги объясняли успех маккартизма бессознательной реакцией значительной части общества на социально-экономические противоречия модернизации. Обращаясь к идеям Т. Адорно и Э. Фромма, они рассматривали бессознательное недовольство как основу авторитарных настроений, которыми правые активно манипулируют в своих прагматических интересах. Р. Хофстедтер в своей теории консенсуса не просто подчеркивал справедливость и эффективность деятельности государственных институтов США эпохи Рузвельта, но и трактовал конфликты как результат частных интересов консервативных элит, сотрудничество с которыми в условиях холодной войны представлялось контрпродуктивным, опасным и аморальным. Недовольство принадлежит тем, кто оказался на периферии

9 Шелер М. Ресентимент в структуре моралей / Пер. с нем. А.Н. Малинкина. СПб.: Наука, 1999. С. 16.

10 Там же. С. 13.

11 Там же. С. 10.

12 The New American Right / Ed. by D. Bell. N.Y.: Criterion Books, 1955; The Radical Right / Ed. by D. Bell. 2<sup>nd</sup> ed. Garden City; N.Y.: Doubleday, 1963.

модернизации, максимально «зримой» и активно обсуждаемой в годы экономического подъема и технологического оптимизма 1950—1960-х гг. Таким образом, либеральная «парадигма недовольства» оказывалась связана с представлениями о прогрессе и девелопментальным историзмом, противопоставляющим «устаревающее» прошлое оптимистическому горизонту ожидания будущего<sup>13</sup>.

Впрочем, критика нагнетания социального недовольства со стороны правых была не единственным модусом осмысления негодования/недовольства в это время. Рефлексия о европейском колониализме и нацистском прошлом в текстах Ф. Фанона и Ж. Амери<sup>14</sup> сопровождалась бурным негодованием, которое противилось примирению, поиску эмоционального баланса или консенсуса. Трудное прошлое здесь нужно было не просто проработать и отрефлексировать, как предлагали сторонники психоанализа и исследователи культурной травмы, — оно сохраняло свой эмоциональный потенциал для борьбы с несправедливостью. «Случившегося не воротись. А вот с тем, что *это случилось*, просто так примириться нельзя. Я протестую, я восстаю — против своего прошлого, против истории, против современности, которая замораживает прошлое в виде истории и, стало быть, самым возмутительным образом его фальсифицирует. <...> Эмоции? Пусть так. А кто сказал, что просвещение должно быть лишенным эмоций? Я-то полагаю, что как раз наоборот. Просвещение справится со своей задачей, только если примется за дело со страстью», — писал Амери в 1966 г.<sup>15</sup> По мнению Шнайдера, эта установка на справедливое негодование/недовольство сохранялась и позднее — в работе Комиссий по установлению истины и примирению, которые начиная с 1980-х гг. были созданы для восстановления прав граждан, пострадавших от диктатур в Чили, ЮАР, Индонезии и многих других странах<sup>16</sup>. С этой точки зрения не только дискуссии о культурной травме, которые важны для Демерциса, но и культурная память сохраняет негодование как важный элемент неприятия несправедливости. «Негодование — это модус памяти, гарантирующий, что грехи прошлого не будут преданы забвению» (с. 124).

Наконец, еще один модус политического недовольства, распространенный в конце 1960-х гг. и доживший до современности (переживающий «новый рост», как сказано в названии книги Шнайдера), — это недовольство «молчаливого большинства» американского среднего класса, проголосовавшего в 1968 г. за кандидата республиканцев Р. Никсона, с которого, по мнению Шнайдера, начинается господство неолиберализма. Негодование и ресентимент — слишком сильные слова для характеристики этой политической эмоции. В ее основе лежит не столько осознанное недовольство, сколько недифференцированное *неприятие* Других (феминисток, гомосексуалов, мигрантов) как часть политик идентичности в смысле Фукуямы<sup>17</sup>. Такое неприятие Других трудно назвать ресентиментом, подчиняющим себе все остальные эмоции и трансформирующим ценности в смысле Ницше или Шелера. И оно лишь частично повторяет манипуляции эмоциями эпохи маккартизма. Классик социологии эмоций А. Хохшилд в известной работе об активизи-

13 См.: Олейников А. Время истории // Логос. 2021. № 4. С. 5—30.

14 См., в частности: Амери Ж. Ресентимент // Амери Ж. По ту сторону преступления и наказания: попытки одоленного одолеть / Пер. с нем. И. Эбаноидзе. М.: Новое издательство, 2015. С. 109—138.

15 Там же. С. 15.

16 О работе некоторых из них подробно пишет Н. Эппле во второй главе кн.: Эппле Н. Неудобное прошлое: память о государственных преступлениях в России и других странах. М.: Новое литературное обозрение, 2020.

17 Фукуяма Ф. Указ. соч.

стах Движения чаепития в Луизиане «Чужие на своей земле: гнев и скорбь американских правых» (2016)<sup>18</sup> убедительно показывает вполне прагматические и достаточно гетерогенные основания такого социального недовольства. «Пять лет, с 2010 по 2015 г., Хохшилд работала в регионе Байу (дельте Миссисипи. — *Ф. Н.*), которому развитие нефтехимической промышленности нанесло огромный экологический ущерб, сильно повлиявший на здоровье и качество жизни местных жителей. Большинство местных охотно признавали эти проблемы, но — и в этом “великий парадокс”, к которому Хохшилд регулярно возвращается в ходе своего исследования, — очень немногие из них поддерживают экологические движения за охрану окружающей среды. И практически все отвергают федеральную политику, которая могла бы повлиять на ситуацию. Их недовольство любой активностью правительства сочетается с презрением к государственным программам в целом, и особенно к социальным “подачкам”» (с. 172). Хохшилд подчеркивает, что это недовольство разделяют представители разных социальных групп: часть среднего класса, связанная с разрушающей жизнь региона нефтехимической промышленностью; разочаровавшиеся в социальной мобильности рабочие, которые не хотят менять свой социальный статус; противопоставляющие местные интересы и политику центра фермеры. В этом смысле современный кризис неолиберализма принципиально отличается от ситуации начала 1950-х и 1960-х гг., когда успехи демократов в строительстве общества благосостояния были вполне очевидны. Современное недовольство/неприятие представляется Шнайдеру гораздо более гетерогенным, поскольку связано с разными (но все же скорее правыми) идентитарными сообществами. Инцелов, адептов «нового/культурного расизма», сторонников имперского мышления в России или Турции, религиозных фундаменталистов в разных странах объединяет антагонистическое противопоставление своих и чужих, но разделяют множество тактических вопросов и понимание декларируемых целей.

Шнайдер считает, что попытки теоретически осмыслить специфику этой новой волны неприятия/негодования/ресентимента, предпринимаемые Браун, Фукуямой, Хохшилд и другими известными авторами, не очень продуктивны сразу по нескольким причинам. Во-первых, критика современного правого популизма и политик идентичности уже не может опираться на теорию модернизации, то есть рассматривать недовольство неолиберализмом как бунт ностальгирующих по ушедшему прошлому и оставшихся на обочине глобализации провинциалов и ретроградов. В условиях кризиса самой идеи будущего без переосмысления надежды (тоже наполовину эмоции, а наполовину рациональных ожиданий) такая критика не работает. А во-вторых, критика идентитарных сообществ должна уточнить свое понимание бессознательных или аффективных механизмов, задействованных в современном правом популизме, поскольку психоаналитическая традиция не очень для этого подходит, а поворот к аффекту так и не выработал внятных стратегий социального анализа<sup>19</sup>. Наконец, эта критика существенно недооценивает историчность структур ощущений (Р. Уильямс), или эмоциональных режимов (У. Редди), которые требуют и полевых антропологических исследований, и более теоретического осмысления в рамках интеллектуальной истории и культурной истории, фиксирующих отличия современности от эпохи маккартизма.

Таким образом, главная проблема, которая интересует Шнайдера, — это отсутствие в современных гуманитарных исследованиях работающей концепции объяс-

18 *Hochschild A.R. Strangers in Their Own Land: Anger and Mourning on the American Right. N.Y.: The New Press, 2016.*

19 См.: *Кобылин И.И., Николаи Ф.В. Нужен ли историкам «поворот к аффекту»? // Диалог со временем. 2020. № 72. С. 37–48.*

нения и символического кодирования гетерогенного негодования/недовольства/неприятя. Ключевую роль в этом культурном переосмыслении должны сыграть не столько философы (как в эпоху Просвещения и в XIX в.) или социологи (как в 1950—1960-е гг.), сколько антропологи и исследователи интеллектуальной истории эмоций. Причем речь не только о чувстве негодования, но и о надежде, о чувствах справедливости, солидарности и счастья. Такая связка интеллектуальной истории и политической социологии эмоций максимально приближается к идее «практического прошлого» Х. Уайта, поскольку предполагает использование прошлого для формирования этической (и политической) позиции по отношению к различным сообществам и событиям в настоящем и возможном будущем<sup>20</sup>. В этом смысле позиция Шнайдера принципиально не совпадает с тезисом Фишмана, согласно которому ресентимент характерен для эпохи модерна в целом. Интеллектуальная история показывает существенные разрывы в его генеалогии, а также объясняет его смещение вправо как следствие социальной трансформации общества риска, вызванного неолиберализмом растущего социального расслоения и отсутствия внятных культурных альтернатив, которые предлагались бы левыми. С этой точки зрения понятие ресентимента не вполне подходит для анализа современных политических эмоций; точнее, оно требует серьезных уточнений и дифференциаций, без которых оказывается пустым, почти ничего не объясняющим.

\* \* \*

Три рассмотренные книги позволяют взглянуть на современный рост правого популизма с трех разных в дисциплинарном плане сторон: с точки зрения политической философии, социологии эмоций и интеллектуальной истории. Кроме того, их авторы по-разному оценивают соотношение эмоций и символически кодирующих их понятий: Л. Фишмана интересует исключительно понятие ресентимента, Н. Демерциса — скорее политические эмоции негодования, а Р. Шнайдера — их соотношение. Сравнение этих подходов и их социально-политических импликаций интересно не только само по себе, но и в рамках критики побеждающей сегодня модели артикуляции негодования/ресентимента, работающей на поддержание антагонистических политик идентичности. При этом важно не упрощать сложную работу коллективных эмоций и механизмов их культурного кодирования, не сводить их к простым оппозициям («элиты — народ», «правые — левые»). Необходимо признать историчность взаимосвязи социальных эмоций, ценностных установок и маркирующих их понятий. Кроме того, нужны масштабные полевые социологические и антропологические исследования, которые позволили бы подробно картографировать специфику форм проявления негодования, ресентимента и недовольства (как и чувств справедливости, надежды и солидарности) в различных сегментах современных обществ. Для разработки гипотез и исследовательского инструментария подобных проектов рецензируемые работы представляются предельно актуальными. Кроме того, они могут быть полезны и для выработки «фабул», или нарративных схем, символического кодирования справедливого недовольства многочисленными социально-политическими проблемами современного общества, — переводу этого недовольства и негодования из эмоциональной сферы в более отретфлексированную критику. Говоря о формировании детской ли-

20 Уайт Х. Практическое прошлое / Пер. с англ. К. Митрошенкова, А. Арамяна. М.: Новое литературное обозрение, 2024. Также см.: Олейников А. Хейден Уайт как публичный историк // Новое литературное обозрение. 2019. № 1. С. 95—105.

тературы в 1920-е гг. и проецируя эту полемику на современное отношение к травмам прошлого (и настоящего), С. Ушакин отмечал в одном из интервью: «В этих дебатах не самые последние люди участвовали: Луначарский, Горький, младоформалисты. И вот что любопытно: выход искался как раз в поиске приемлемых схем, не столько содержательных, сколько формальных. Лидия Гинзбург так прямо и писала: нужен фабульный схематизм, нужна наглядность. <...> Нужен фабульный костяк; условно говоря, чтобы было понятно, кто, кого, когда и за что. Ситуация сегодня, на мой взгляд, похожая — нужна внятная картинка. А картинки нет. Точнее — нет картинки, через которую факты прошлого отфильтровались не то чтобы в фабулу, а хотя бы в узнаваемый сюжет»<sup>21</sup>. Сегодня, когда «массовая аудитория» отдана на откуп массовой же культуре»<sup>22</sup>, важной задачей публичной истории и антропологии коллективных эмоций может стать не только критика правого популизма, но и выработка новых нарративных схем кодирования ощущений недовольства, обиды, негодования и уточнение представлений самых разных социальных групп о счастье, надежде и справедливости.

---

21 Ушакин С. «Мы у прошлого не учимся, мы им живем»: Беседа И. Костериной с С. Ушакиным // Неприкосновенный запас. 2015. № 4. С. 161.

22 Там же.